

2000

Снилось, что сошел с ума, долго ходил по какому-то помещению, швырял предметы, плакал, рыдал в голос — люди, знакомые люди отворачивались, стыдились меня. Потом извинялся почему-то перед мамой — все удивляются, что я помню ее лицо, почему за тридцать лет не истаяло, не исчезло, но оно становится только отчетливее, приобретает мои некрасивые, но определенные черты — она стояла мрачная, и я понимал, что дело не в извинениях, хотя, конечно, можно попросить прощения, — а в том, что я сошел с ума навсегда и неясно, как теперь быть со мной: запереть дома, как чудовище, как большое животное, которому к людям нельзя? Или отпустить, чтобы разнес к черту мир, который не нравился и ей, который ее тоже довел? Ведь так и не узнал, почему она прыгнула.

Потом понял, что во сне она была не мертвая, как будто и не было балкона никогда.

Пять лет не приближался к лагерю, поляне, Кадошскому маяку, ручью нашему, но однажды не выдержал, возвращаясь домой откуда-то, — нарочно сошел на остановку раньше и скользнул взглядом вдоль ручья: конечно, они там.

Ребята, низко наклоняясь, поднимают камешки со дна ручья, сначала сами придирчиво рассматривают, проверяя что-то, а потом несут *ему*.

Он стоит по колено в воде — не холодно? Раньше нельзя было переохладиться. Берет в ладони принесенные детьми камни. Потом ударяет камешки один о другой — выходит музыка.

Он и мне показывал.

Можно несколько октав выложить, говорит он, и вот так бьешь слегка, тихонечко — получается нота.

Не слегка, блин, вовсе даже не слегка, что ты говоришь такое — некоторые камни нужно бить резко, горько, потому что иначе они не зазвучат, они капризные; а некоторые — нежные, с ними нужно ласково, тонкими женскими пальчиками: поглаживаешь больше, не бьешь.

Ну?

Почему ты им не скажешь?

Или все забыл, все забыл без меня?

ВО ВСЕ ДАЖЕ НЕ СЛЕГКА, ДА?

НАОТМАШЬ.

ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?

Меня слушают камни, начинают мелодию.

Ручей струится.

Музыка бежит.

Камни поют.

— Видите, — с удовольствием говорит Лис, — нас и прохожий остановился послушать.

Прохожий?

Но ведь нет никого, мало кто решится от дороги выйти к ручью, или —

Или это я прохожий, незнакомый прохожий?

Оглянись, незнакомый прохожий.

Ты видишь, что у меня тоже отросла короткая борода — как и у тебя в лучшее, прошедшее время, потому

что в нашу последнюю встречу ты был гладко выбритым, даже с заметными ранками от неосторожного лезвия, что все больше выдавало того, кто редко бреется: руки не привыкли к упругим, плотным движениям.

В твоих волосах теперь больше седого, чем рыжего, — седина и раньше была, я просто не думал, что так —

Но прохожий не пойдет своей дорогой, я много всего передумал, пока камни слушал. Ну, ударь еще раз. Сделай так, чтобы горные отроги откликнулись звоном, малым квартсекстаккордом.

— О, так это знакомые лица, — скучным, неинтересным голосом говорит он. — Ребята, поздоровайтесь с дядей.

Хором, нестройно: здравствуйте, здравствуйте.

Привет, отзываюсь хрипло — не серебряный колокольчик, посадил сильно со своими интернатскими, про хламидомонаду рассказывая. Не понимаю, отчего смеются.

Понимаю, почему смеются.

— Какими судьбами здесь?

— Да вот. — И ненавижу себя за неуверенный голос, за грязноватые джинсы, за мятую рубашку с коротким рукавом, а ведь должен был принцем появиться, красавцем, доктором наук, знаменитым певцом, а кто на самом деле? кем спустился от остановки? жалким, жалким.

И всегда только жалость вызывал — у Наташи, у него, у Маши, у Дани, у Айтугана, у семьи Бялых, у Марии Семеновны, у дочки даже, у Женьки, хотя ей-то, ей-то что?

— Проходил мимо, решил зайти? Да? — спокойно продолжает Лис.

У него изменилось лицо — набрякли мешки под глазами, будто не спал долго-долго, кожа загорела неровно, нос облупился, на щеках выступили коричневые веснушки, которые только у стариков бывают. Но на старика не сделался похожим, нет-нет.

Но только что спасло, что понравилось, что зацепило — он все еще с ними сам, один, хотя и не так рассказывает, как раньше, а все равно в воде стоит, все равно детишки вокруг — веночком.

— Да. Можно сказать — соскучился.

И всю злость, и всю радость, и всю зазвеневшую новую весну — в глаза, в улыбку. Странно, что узнал вообще, что не стал дальше как о *прохожем* говорить.

— Тогда — добро пожаловать. Иди за мной.

— Я помню дорогу.

— Нет, не помнишь, мы тут всё немного поменяли... Иди давай.

Лагерь сделался немногочисленным, каким-то непривычно тихим. Палатки стоят, костров не видно.

— В этом году запретили разводить, только спиртовки. Спиртовки есть, всё есть. Ребят меньше, да. Мне почти пятьдесят лет, Лешка.

Лешк.

Лешк.

Ле

Ударило в сердце, разорвалось, болью отозвалось, вспыхнуло и погасло.

Нет

Нет

Только не снова

Только не свет в глаза

Почему воздух холодный и теплый, сразу холодный и теплый, словно его подают по двум тоненьким проводкам прямо в горло?

Теперь холодный, один холодный остался

Нет

Лешка.

Лешка.

Алексей.

Просыпайся, хватит.

Это кто?
Это меня?

*

Маша, милая,

прости, что это перед самым Новым годом происходит, но ведь ты, я уверен, и без меня выслушаешь то, что хочет сказать Генеральный секретарь, а он хочет сказать совершенно привычные, повторяющиеся каждый год вещи, а потом заиграет песня — вот тут на самом деле неясно какая, потому что «Надежда — мой компас земной» не прошла проверку цензорского комитета, и мы никогда не поймем почему. Потому что там о доме поется? Да, верно, о доме, и я бы так хотел, чтобы для нас, чтобы и у нас был дом; но никогда не было.

Прости, что не было.

Прости, что не было ничегошеньки, ни дома, ни сада, ни — чего я там еще хотел, сына?

Какая глупость, зачем мне сын, я бы с ним не справился, не смог придумать никаких мужских общих правильных дел вроде рыбалки, обыкновеннейшего похода с палатками — и это я-то, который должен бы знать все о таких походах, — но только больше плакал бы, не ходил.

Дома не было.

хотя есть и квартира, и даже было такое, где чувствовал себя —

тебя очень любил, раньше тебя любил, но знаешь как хотелось любить и дальше. Думаю, что дело в препаратах, думал, что дело в препаратах, но на самом деле мне давно отменили аминазин, поэтому нельзя во всем винить его. Утешали, что после отмены пройдет. И женская эта грудь намечившаяся уйдет, и полнота. Ничего не ушло, уходить не собирается. Но сейчас не об этом, хотя, конечно, страшно жирный сделался, на меня неприятно смотреть. Не говори, что ничего, что ничего не замечала, привыкла.

Невозможно не заметить. Джинсы треснули под коленками — это как?

Футболка задралась на животе, обнажив багрово-синюшные растяжки, — это как?

Тебе никак, то есть делаешь вид, что все равно, что не брезгуешь.

А я брезгую собой.

Но что я хотел бы на самом деле сказать — но то, что люблю, все равно выношу в начало, в самую первую строчку. Но дело все в том, что я люблю не только тебя. Звучит невероятно глупо. Как будто у меня есть другая женщина, как будто это вообще возможно. В моем случае нет, совсем, не из-за физической немощи. Может быть, из-за него, из-за Алексея Георгиевича. Ты просила меня забыть о нем, и я клялся, что забыл, но только я проклятый лгун был.

Когда мы познакомились? Мне было четырнадцать лет. Мама выпрыгнула из окна, когда мне было шесть. Только не думай, пожалуйста, что это у нас семейное, потому что я — по своим, особым обстоятельствам. И не из-за него, нет, конечно.

Мне было четырнадцать лет, потом почти сразу исполнилось пятнадцать, так незаметно прошло время. Ему — тридцать. Так вот, Маша: я любил его, дорогая Маша, что еще могу сказать?

Я любил его, и мне было четырнадцать лет. Он был мой учитель. Я его помню, а ты не знаешь, что такое помнить, — ты даже имена своих родителей все время забываешь, потому что они забытые, о них написано только в одном особом документе. Я случайно узнал, что такой документ существует, — не узнал даже, а вычислил, потому что он непременно должен существовать, реестр забытых, потому что как иначе вести учет?

Ничего особенного в том документе нет, только имя, год и место рождения — если, допустим, сын или дочь забытого захочет что-то сделать такое, для чего потребуются имена

родителей. Вряд ли это важно сейчас, конечно. Мало где требуются имена. И я всегда радовался — счастье еще, что к Маше, как к дочери *забытых*, не применялись никакие санкции, мы просто жили, просто поженились. Раньше, говорят, высылали, запрещали жить в столицах. Давно это было, а сейчас время стало милосерднее, справедливее.

Маша забыла, Маша не помнит свое отчество, а я почему-то — помню всегда, значит ли это, что на меня эта новая машина, этот *Читатель*, не действует?

И зачем пишу про *реестр*, разве это по-настоящему важно?

Отодвигаю записку на край стола. Думал — действительно записка будет, а выходит письмо, длинное, жалостливое.

Когда проявился диабет — подумал, что все на этом, что привычная жизнь закончилась. Но потом врач объяснила — все хорошо у тебя, мужик, живи дальше. Диета. Физические нагрузки. Клетчатка. Избегать чрезмерной *инсоляции* — пришлось в словаре искать слово, но только не было смысла: это когда я в последний раз загорал, смешно. На Лыткаринский карьер ездил, это если из недавнего вспоминать. Маше на даче помогал. О, ежевика, кисловато-колючая ягода, плотно спаянные с мякотью косточки, что так неприятно чувствуются на языке, — сколько обрывал соседскую, запущенную и разросшуюся, тянущуюся сквозь забор, а своей не завел. У нас только смородина, а я ненавижу ее запах. Пережил, думал, что и остальное переживу. Маше хотелось приезжать каждые выходные, оставаться с ночевкой, а это значит — везти много еды, макароны, подсолнечное масло в пластиковых бутылках, «Золотая семечка», ох уж эта «Золотая семечка», сковородки, стаканы, матрасы, дачную одежду, которой столько накопилось, что ящики шкафа не закрываются нормально, приходится силой, а обратно никакой силы не хватает. Видел уже, как сидим среди пенсионеров и молодых женщин, сидим на влажном дерматине, которым

обиты лавочки в электричках, и сильно пахнет гарью — горят торфяники в Шатуре, горят, сколько помню себя.

И запах смородины.

Он и сейчас вспыхивает, хотя открыта форточка, а там зима, конец скучного темного года без вкуса и запаха. Раньше что-то чувствовалось — деревянные лопаты дворников, убирающих снег, реагент на льду, какой-то особый колючий воздух, сухой горячий ветер метрополитена, такой разный: плотный и неприятно сухой в дверях, холодный, пронизывающий или *никакой* — в туннелях. Сейчас чувствовать перестал, хоть полностью высунься, хоть склонись над балконными перилами. *Почему мы не можем застеклить балкон*, говорила Маша, посмотри — *мы же одни как не знаю кто живем, как раньше, как неблагополучные какие*. *Нельзя*, говорил и повторял терпеливо всякий раз, потому что иначе как я буду курить, облакачиваясь на перила? Никак не выйдет. Стекланный колпак ведь какой-то выйдет, колбочка, реторта.

И не делал, оправдывался.

Денег тоже не было, конечно. Сколько стоит сейчас застеклить балкон?

Остекление балконов под ключ балконы и лоджии без металлоконструкций в Москве по выгодной цене недорогое остекление балконов балконы с утеплением и отделкой —

И вот дальше никогда не шел, останавливался.

С утеплением и отделкой —

Что сделалось так тепло, так покойно, что представить себе не мог.

Но только чтобы закрыться, самому заключить себя в стекло, в пластик — о, ежевика, твой колючий вкус, если снова придется ехать на дачу с Машей, вообще ничего делать больше не буду, в дом не войду, не наполню ведра и лейки водой, а только пойду по тропинке вдоль соседнего заброшенного участка, стану срывать с кустов, пробовать, разгрызать, чтобы к своей смородине не возвращаться. Она еще красноватая, незрелая, не так сильно пахнет, но когда начнет —

Хорошо, не сейчас. Сейчас она под снегом стоит, все под снегом, и я —

Опираюсь на разошедшиеся перила. Они для того нужны. Сильно, сильнее. Если усилить нажатие, выступит кровь — в самый раз рука на ржавой шляпке гвоздя лежит.

Еще больнее, еще сильнее.

Еще.

Звук — тырр-ррры, такой звук, никакой не звон, который сам отключил, остался только тырр-ррры, от которого и приятно, но только не теперь.

Леша я буду через пятнадцать минут

Маша теперь пишет когда — это потому, что врач просил не оставлять надолго, но что такое *надолго*? Чтобы я видел какой-то обозримый период времени, чтобы понимал. С той поры и началось *Леша я буду через два часа десять минут Леша я буду через сорок пять минут через полчаса буду Леша через три минуты поднимаюсь бегу*

Маша не поднимается, конечно, — на девятый далеко бы пришлось. Да и лифт, кажется, едет не три минуты, а много дольше. Но никогда не капризничал, не возмущался, даже если она опаздывала. Не все так плохо, да и боль поддерживает, помогает. Я же не ребенок, ну. Я могу сам, могу сам за себя.

Если захочу, то смогу даже и вниз не смотреть.

Леш, может быть, ты будешь курить в квартире?

Пятнадцать лет было нельзя, двадцать лет было нельзя — у нас чистые, розовато-белые обои, не как у моих курящих приятелей. Чистота. Я выхожу в подъезд, выхожу на балкон. Не стану курить дома только *потому*. И сама не знаешь, что предлагаешь, Маш, — так любишь, чтобы было красиво, пылесосом проходишься каждый день, через день. И тогда скоро аккуратно дала мне тряпку — разрезанную на несколько частей мою некогда белую футболку, не иначе как тоже врач велел. Должно быть занятие, трудотерапия, не знаю.

И я мыл пол, и мыл балкон.

Через пятнадцать — значит, осталось десять.

Маша будет через десять минут.

И я мыл пол.

И пахло смородиной.

Зимой вечно невыносимо пахнет смородиной. Смердит смородиной. Смеркается.

У меня осталось десять минут до Маши, потому что она зайдет с полными пакетами из продуктового — сделала все, чтобы они полными были, вот только я ничего; будет предлагать глазированные сырки и сладкий малиновый йогурт, хотя за последние два года я сильно, безобразно поправился. Раз взвесился у соседки смеха ради — сто пять килограммов, а раньше восемьдесят было, а в двадцать лет, может, и семьдесят, тогда не взвешивался, не было привычки. Может, из-за этого веса Маша и уговорила показаться терапевту, потом эндокринологу. И обнаружилось. Потому что диабет — подлый такой, коварный: болеешь, не замечаешь, а он тихонечко подтачивает, подтачивает изнутри, разъедает глаза, сосуды. Я так себе представляю. И то — я высокий, крепкий, спокойный, а в кого превратился?

Ну что же ты, а.

Крепкий.

Наверное, так легче будет — если вначале свеситься вниз, да, сильно-сильно, вот так.

Кружится голова. Может быть, и зря не застеклили — сейчас бы оставил записку, что хочу окна помыть; вот бы и вышло. Мыл, наклонился неловко. Тут движения одного достаточно, в самый раз будет.

Никогда не мыл окон, разве только смотрел, как мама — Как мама мыла раму, и чем закончилось?

Нелепо. Никто не пишет в записке, что собирается мыть окна, Маша сразу поймет. А Женька, может быть, даже и не приедет. В трубку посочувствует. И ей подружки скажут — у тебя умер отец, так рано, ну надо же, несчастный случай, грустно-то как. И ни слезинки.

Может быть, неправильно представляю.

И когда я тушу свою переваливаю через перила балкона, понимаю, что совсем не задержусь, не повисну на руках, что так мне и надо, — в квартиру заходит Маша и пакет шелестит в ее руках.

Я не могу писать, продолжаю проговаривать про себя то, что могло быть продолжением записки, и это не простипро-стипрости:

Надеюсь, что будет не слишком грустно, потому что каждому понятно — и врачу, и всем, что я никогда не буду прежним Лешей, а останусь только бессмысленной тушей, не способной ни к музыке, ни к путешествиям.

Маш, Алексей Георгиевич не должен был от нас уезжать. Это же и его дом был.

Как же я его не защитил? Я ведь всегда был сильнее — а теперь почему-то нет. И если ты нашла это, если прочитала, то знай, что я уже —

Но вообще-то об этом сложно, невероятно сложно, поэтому лучше просто ответь сейчас на вопрос, даже если я не услышу, даже если в мои разбившиеся, закатившиеся глаза заглянет фельдшер скорой помощи, но ты все равно скажи: правда же, что это не я виноват?

Правда?

Правда, говорит Маша и плачет надо мной.

1979

Лешка, там к тебе дядька пришел, сказали, выкрикнули с завистью.

— Не х тебе, — поправляет Наташка, нянечка, — не тока ж к Лиешке пришли, а и ко всем. Он-то завсегда говорит, что ко всем.

— Да ну его. Видать же, что этот, как его, бля, дядечка-то только Леху любит. Сладкое таскает, как девке.

— Какое еще вам бля, вот я воспитателю расскажусь, — ворчит Наташка, но никто не верит, не *расскажется*, не из таких.

Пацаны переглядываются, ржут, Наташка вздыхает: чехо ржете, охloedы, сами над собою, да? А дядьку ждал, думал, заберет, каждую субботу думал, что заберет. И с каждой неделей пацаны все меньше смеялись, все меньше завидовали, даже сочувствовали немного по-своему, понимая, что уже никогда.

Кто тебя заберет, Лешка-Лысый, кто? Ты ж гонорейный, вот ты кто.

Вот ты кто, хотя Наташа не дразнила, утешала даже.

Гонорейным стал из-за этих прыщиков возле рта и на руках, но только они получают, *высыпают* как — если нервничаю, если не сплю, а смотрю над собой в темноту и всякое представляю, если драться нужно, а если бы о маме хоть чуть-чуть подумал, хоть секундочку, то обсыпало бы всего как пить дать, живого места бы не было, весь в этой проклятой *парше*, в *гонорее*. Это Мишка придумал, что гонорея, он говорил — *гонерея*, это с его губ такое слово первым сорвалось. Срывались и похуже. У нас у всех были худшие слова.

И ведь только в тринадцать лет *гонерея* вылезла, раньше не было, гладкая кожа — так, может, чирей какой изредка. Наташка тайком из дома какое-то вонючее масло приносит, говорит, надо на ночь втирать, да не просто так, а с молитвой, — но только ж не помогает ни хрена. Может быть, оттого, что я все время стесняюсь и забываю про молитву? *Коль бы чиста казанская медь, толь бы чист был раб Божий Алексей. Сойди свороба и чесота, вся байня нечисть окаянная, вереда вся. Аминь.*

Простая вроде молитва, а не запомнишь — и отчего-то непременно нужно было странно коверкать имя,

переставлять ударение, иначе не подействует. Если *аминь* не скажешь — тоже.

Так-то бы мог, ну если надо. Просто все никак не могу спросить — надо ли непременно вслух? Потому что если вслух, то не выйдет. Нас в спальне шестнадцать парней, и если ты что-то такое забормочешь — с койки скинут, по сопатке врежут, мочой обольют. У нас было, они могут. Не со мной, с другим пареньком, новеньким, что помладше. Но только после того случая я не стал бояться, а решил, что буду делать. Вот что: встану и начну бить, махать руками, сжатыми кулаками, все равно кого, просто кого достану, такой злой буду, как маленькое животное. Однажды видел по телевизору мелкого коричневого зверька, что дерется с яростью и отчаянием, — не запомнил только, как он называется, что-то вроде медведя, но с вытянутой крысиной мордой. И вот решил, что тоже буду таким зверьком, а остальные чувствовали, не подходили.

В мае в интернат пришли люди из Дома пионеров, рассказывали про кружки, кукольный театр, танцы, авиамоделирование. Они прямо с куклами заявили, такими размалеванными и смешными, но хорошими, а ребята поскучали над ними, попереглядывались, пальчиками потыкали, одну даже сломали. Вот директриса выла! А они, эти, из Дома пионеров которые, ничего, стерпели.

Картинки показывали, приглашали. Те, кому четырнадцать уже исполнилось, могли и сами ходить на кружки, вот и решили звать. Воспитатели встали за нами, руки на груди сложили, а больше никого не было, ни учителей, ни нянечки, ни повара, — поэтому Наташка, например, не сразу увидела тогда Алексея Георгиевича, поэтому долго повторяла, что он, может, меня заберет. Она думала, что он взрослый, а он — взрослый, конечно, но неправильный взрослый.

Он сказал, что тоже не знает, как называется зверек, но мы можем попробовать найти.

Я инструктор по туризму, сказал он воспитателям.

Будем ходить по долам, по горам.

Как же не знаешь, как называется зверек? Раз инструктор по туризму. Непременно должен знать. Но я не обиделся, задумался. Может, самому нужно узнать. Может, судьба мне найти такого юркого злого зверька.

А вот тот человек, который про этих животных рассказывает и знает, — кажется, уже всех нашел, даже дальневосточного журавля. Вот он стоит, а за ним кто-то поднимается, что-то происходит, шелестит сухая трава. И голос его вкрадчивый, парни ржут, а мне нравится. Так вот, когда Алексей Георгиевич впервые пришел, он мне на этого из передачи похожим показался. Не лицом, не голосом. Другим, неуловимым.

Подмигнул нам, а показалось — мне. По долам, по горам. Разве отпустят? А потом началось: Лиешка, тут к тебе дядька пришел, давай вылезай. И не сообразил ведь сразу, что он тоже — Леша, раз Алексей Георгиевич; наверное, потому, что на самом деле не Леша никакой, его так никогда не звали, а сам не представлялся. Только в первый раз, среди всех стоя в большой комнате перед выключенным телевизором и диванами, на которых расселись мы, — и потом, много лет спустя, когда я стал видеть это *Алексей Георгиевич* везде — в газетах, в интервью, рассказах каких-то смутно знакомых людей, что сами не присутствовали, но теперь-то *имели мнение и выражали его*. Упоминания, обещания в глаза лезли, кололи.

— Ждешь дядьку-то? Он, ховор'ят, и на ынструменте играть может. На хитаре, што ль? Ну так пушай играет, тебя это, мож, развеселит. А то ходишь смурной.

Говорит Наташка. Остальные отсмеялись, отстали.

— Нет, а чего? Не знаю.

— Ничего не знаете, что за народ такой? Бехи, встречай.

— Да ну его.

— Что — да ну? Человек х тебе ведь пришел, не к кому. Остальные-то сами в этот, как его, в Дом-то пионеров ходят, просто на карты смотреть там, не знаю, костры разжигать учиться. А он к тебе сам. Когда заберет-то? А?

— Наташ, он не может никого забрать.

— Это почему?

— Не знаю. Но он же не... не папа. Не чей-нибудь папа.

Были мужчины здесь, о которых можно сказать: вот папа пришел, он уже папа, может быть папой. А про тридцатилетнего Лиса, пусть он и старше выглядит, пусть у него борода каштаново-рыжая, — разве скажешь?

— Ние знаю. Так ты будь с ним поласковее, посмиешнее. Знаешь, сейчас-то ребят полно-полниехонько, так што неласковых никто не возьмлет. Не делай рожу больно-то мрачной, за книжками не прячься, успеешь еще начитаться. Ты и в спальню книги тащишь, я уж видела. Давай, давай, не прячься.

И Наташка шутиливо, но сильно так, ухватисто забирает книжку, это «Дети капитана Гранта», от которой все не оторвусь. Но сейчас будет Лис, и нужно быть посмешнее. Лис любит смеяться.

У Лиса рыжеватые волнистые волосы, такие длинные, каких никогда не видел, и потому еще народ смеется — как, такие длинные, да как может быть? Он мужик или баба вообще? Ха-ха. Но ведь на самом деле дураку понятно, что мужик. Взрослый мужик, у него, может, сын как я. Ну ладно, может, немного младше, может, он совсем маленький ребенок. Вдруг становится стыдно об этом думать.

Он потом объяснит, к чему длинные волосы.

Ты знаешь, кто такой Иэн Гиллан, спросит он. Я не знал, конечно, откуда, — но ведь никто не знал, и вообще Лису тоже неоткуда.

Мне приснился человек в длинной светлой рубашке, с длинными темными волосами, он стоял на сцене и пел. То есть наверняка это была сцена — пустое темное пространство, в котором видно только его.

И о чем же он пел, спрошу я.

Он пел о том, что, мол, я хочу сказать только одно: Господи, если есть какой-то способ сделать так, чтобы мне не принимать такие страшные страдания, то найди, пожалуйста, этот способ, ведь я так не хочу умирать. Я горю в огне, я уже не такой, как был вначале, я уже не так уверен. Но если, Господи, все-таки нет такого способа и я все-таки должен умереть, то объясни, почему это должно быть так больно и страшно, можно ли тогда хотя бы сделать так, чтобы не было так больно?

Но если ты не можешь ответить ни на один вопрос, то хотя бы убей меня сейчас, пока я не передумал.

А как же ты узнал, как зовут этого человека?

А я сразу понял, когда увидел. Мне снится человек по имени Иэн Гиллан, не знаю, кто он и откуда, даже не все слова песни понимаю — только приблизительный, произвольный смысл.

И после того сна понял, что у меня тоже будут длинные волосы, а коротко стричься должны только военные и государственные служащие, а если ты вольный человек, если ты обращаешься вот так к богу — то должно быть именно так.

Но вот появляется Лис, и, сам не знаю почему, несусь навстречу и вижу перед собой бело-синий эмалевый значок *инструктор туризма* — раньше не мог разглядеть, а теперь вижу, что там узкий двуцветный пропеллер. Ледник и пропеллер, небо. Путешествуйте по горам Кавказа. Все видел в Доме пионеров, но только запах — там пахло бумагой, старыми картами, крепкой заваркой, одеколоном, а тут — только Лисом, его рубашкой, его рассказами и разговорами.

— Ну что? Как оно?

Вечно встречал вопросами, на которые — ну что ответишь? Спал, ел, дрался, дулся, ничего не делал. Книжку читал. У Лиса-то жизнь, другая, веселая жизнь.

— Слушай, Лешк, а я тебя ведь отпросил на сегодня у начальницы твоей. Пойдешь гулять?

Захотелось крикнуть — да, да, конечно, почему ты спрашиваешь, иду гулять, могу прямо вот так побежать, в коротких форменных штанах, что мы в помещении здесь носим, но что-то заставило отстраниться, помолчать.

А отстранившись, спросить:

— Лис, мы одни пойдём?

— Нет, ну зачем — одни, одним не так весело будет, другим же тоже... интересно. Все пацаны пойдут, которые в секцию записаны. За город поедем. На автобусе.

— На автобусе... У меня денег нет на автобус.

— У меня есть.

— Ну я не знаю...

Лис сдвигает брови, невероятная его, золотая и радостная улыбка меркнет:

— Лешк, ты что, не хочешь гулять? Смотри, погода какая — скоро ведь не будет. Золотая осень, красота. Речку пойдём посмотреть, к морю спустимся, я дикий пляж знаю, где ни местных, ни туристов... Я, может, что-то о растениях расскажу, ты ж, небось, яблоню от груши не отличаешь? Вот и будем смотреть.

Как же — яблоню от груши... Яблоки-то все едят, зачем ерунду говорить? И груши видел: они гниют под ногами, быстро становятся несъедобными, каким-то белесо-муравьиным месивом. Но не спорю.

Хочу гулять, но как сказать, не знаю. С кем поедем — неужели вот с этими? Они затаились, когда Лис пришел, все-таки сторонятся взрослого, прямо как Наташка, но она не из страха, а потому, что любит меня сильно: не хочет мешать, она скромная, Наташка.

Хочу, опускаю глаза — может, поймет? Но ведь стыдно только будет, если поймет. Подумает, что я только о себе думаю, что я как все, а человек не должен быть таким, а должен — хорошим товарищем, сильным и смелым. И эти, которые в секции, — они товарищи, я должен их любить. Может быть, и не именно любить, но точно обязан быть хорошим товарищем. Поэтому говорю — нет, Лис, что ты, Лис, конечно, пойду.

— Подождешь, пока переоденусь?

— Переоденешься, а что... А, ну да. Надо будет тебе приличную туристическую амуницию spravить, а то как Гаврош бегаешь. Иди, я тут подожду.

— Бегаю — как что? Как кто?..

— Не знаешь, кто такой Гаврош? Ну ничего, я потом когда-нибудь расскажу. Поспешите.

Но только он, кажется, так и не рассказал никогда, а я сам узнал, когда прочитал Гюго. Но вообще-то я не был тогда похож на этого самого Гавроша — он смелый был, и одежда рваная была оттого, что на улице спал, а у меня чистенькая, неприметная, такая у всех парней была.

И я спешу. И после слов не то чтобы теплее становится, а просто думаю, что он же не скажет *всем*, что нужно амуницию покупать, это только для меня слова? И дело не в том, что хочет купить, у него самого денег нет, ну разве только на автобус, а потому что посмотрел, увидел, что для долгих прогулок у меня не очень подходящий вид, обратил внимание.

Я тогда куда угодно пойду, буду слушать про растения, про температуру воды в горной реке, про методы очистки воды, про все-все.

Натягиваю длинные штаны, рубашку поверх майки-сокóлки — кто его знает, почему сокóлки, а только так старшие пацаны говорили, а мы подхватили. Теплее одеваться смысла нет, и в этом-то заживо спекусь, но только ведь Наташа увидит, что мимо нее без ничего бегу, заругается.

Как так — без ничего, гольшом, что ли? Смешно. Но только она говорит *без ништя*, и никто не смеется.

Стоило бы носки другие поискать, без дырок, но не ищу — Лис ждет. Бегу вприпрыжку, а он не один — стоит напротив Сонечка, маленькая, беленькая. И тут снова зло взяло: вообще Сонечка хорошая, нормальная девочка, она не шлялась ни с кем, не расковыривала прыщи, не воровала у воспитательниц карандаши для губ, вообще ничего такого не делала, просто сидела день-деньской на крылечке нашего корпуса или на качелях синих, скрипучих, не читала, не писала, не рисовала, только улыбалась странненько, отуманенно.

— Ого, уже собрался? — Лис кивает. — Молодец. Тут Соня с нами хочет идти. Не знаю, милая, ты же не в секции, отпустят ли? Я, конечно, попрошу...

Ты попросишь, думаю, конечно, тебе отдадут, кому она нужна; все рассчитывали, что Соню заберут быстро, потому как такая хорошенькая, беленькая, тихая, любит цветы поливать — вечно лужа на подоконнике стоит, вниз стекает, — но отчего-то не брали. Потому что, если с ней заговоришь, поздороваяешься просто — не услышишь ответа. Она не реагирует, моргает, редко-редко что-нибудь сама скажет, может, о еде что или об игрушках. Она из этих, ну, зэпээр. Тринадцать лет, а до сих пор в третьем классе. Никому плохого не делала, ничего, сама за собой следит, чистая, носит в ладонках цвет шиповника, какие-то листья, ягоды, что удастся найти, но люди, видно, не хотят такую. И только Лис со всем вниманием к ней, трепетно рассматривает ерунду всякую, что она во дворе на тропинках подбирает. Ой, что это у тебя? Ты знаешь, что это был такой жук, у которого... Да ты не бойся. Он мертвый, жук. Видишь? Но даже и тогда Сонечка не завизжит, не бросит жука с ладони на пол. Станет приглядываться, словно проверяя: точно ли мертвый?

Точно, точно.

Лис не обманет.

Он-то видел множество мертвых жуков на тропинках.

— Да берите ее с собой, Алексей Георгиевич, — вмешивается Наташка, — берите, берите, никого не спрашивайте. Она только с вами гуляет, с другими боится выходить.

— Но, Наташ, мы же далеко поедem... С пацанами, большими уже. Куда с девочкой? Нет, я с ней потом с радостью погуляю, но сейчас даже не знаю вот...

Соня с места не двинулась, не заплакала, не обиделась. Точно окаменевшее лицо у нее.

— Да ладно, Лис... то есть Алексей Георгиевич, — сам не ожидал от себя, говорю тихо, сдавленно, — давайте возьмем. Она вправду с нами никуда не выходит, за лето не загорела вон даже. А так Соня спокойная, неприятного ничего не будет. Я... то есть я буду присматривать, если хотите.

И тут Лис так посмотрел, что я понял — он хотел, чтобы я так сказал, он доволен, счастлив просто.

Конечно, спросил у директрисы, и мы ждали вдвоем, пока он спрашивал, даже пацаны потеряли интерес и пошли на обед, а я не смог пойти обедать, потому что неприлично, когда с минуты на минуту может вернуться человек, да и он все время в городе покупал какие-то вкусные вещи: сочники с творогом в кулинарии, жареные пирожки с мясом, маленькие груши, лимонад. А после обеда, к которому привык и что даже противно есть иногда, это все не покажется таким здоровским, когда вкус во рту от разваренных макарон, хлебных котлет, косточек из компота. А когда младше был, все любил. Все ел, даже пшеничный хлеб, который сейчас и вовсе возле тарелок оставить можно; только не оставляю. В прошлом интернате за такое по рукам били, за любое: хлеб просто на стол положишь, не на тарелку, — бац по рукам.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru